Юрий Окунев

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХРАМ-ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ И ПОБЕДИВШИМ

К 75-летию Победы над фашизмом

> *Он, казалось, строил в это время грандиозный Собор, и эта книга... и была Собором, величественным, современным, суровым, и светоносным, святым Собором нашего времени. В ней впервые и до сих пор единственный раз была сказана вся правда о прошедшей великой и страшной войне…*
>
> **Борис Ямпольский**

В жизни и судьбе народов и стран случаются события огромного масштаба, ключевые, поворотные моменты национальной истории, и, естественно, они находят отражение в многочисленных произведениях национальной литературы. Случается и так, что перо гения задержится на ключевом событии национальной истории, и тогда это событие и повесть о нем становятся событиями мировой истории и мировой литературы.

Три важнейших периода жизни России последних двух веков вышли на передний край мировой истории не без помощи литературы – Отечественная война 1812 года, революции 1917 года и последовавшая за ними Гражданская война, и, конечно, Великая Отечественная война 1941–1945 годов.

Об Отечественной войне 1812 года Лев Толстой написал в романе «Война и мир». Этот шедевр стал образцом и визитной карточкой русской литературы во всем мире. Своим великим романом Толстой, если позволите, закрыл вопрос – у этого романа не было, нет и не будет конкурентов, и если будущие поколения захотят узнать, какими были люди Отечественной войны 1812 года, они определенно будут читать «Войну и мир».

О революционных событиях 1917 года и Гражданской войне написано немало талантливых произведений, в том числе монументальных романов-эпопей; здесь трудно выделить одну единственную вершину, как в случае толстовской «Войны и мира». Тем не менее три горные вершины видятся издалека: «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Хождение по мукам» Алексея Толстого и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.

О Великой Отечественной войне 1941–1945 годов писалось очень много, но все это было в размере невеликих холмов, иногда – заостренных пиков, а настоящей мощной вершины все не виделось даже на далеком горизонте...

Вспоминаю свои школьные годы сразу после войны. Если не ошибаюсь, о Великой Отечественной войне в школьной программе были «Василий Теркин» Александра Твардовского, «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Сын полка» Валентина Катаева, отрывок из неоконченного романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину», стихотворения и поэмы Константина Симонова, Маргариты Алигер, Ольги Берггольц, Павла Антокольского и Веры Инбер. Это

были талантливые произведения, но уже тогда мне казалось, что в них не вся правда о войне. Ощущение неполной правды рождалось из сопоставления прочитанного с моим собственным детским опытом – полуголодная жизнь в эвакуации, тяжелые картины разорения по дороге в Ленинград, разрушенные дома Ленинграда и спаленные дворцы его пригородов, убогая жизнь в ленинградских коммуналках, и, конечно, грандиозный, вскоре закрытый, Музей Блокады Ленинграда на Фонтанке, который я успел посмотреть, когда в нем еще было кое-что честное и правдивое. То, что я видел в реальной жизни и слышал от старших, очень мало походило на то, что было написано в школьных книжках.

Вне школьной программы был еще большой роман Ильи Эренбурга «Буря» о Второй мировой войне, отмеченный Сталинской премией первой степени, – похоже**,** автор сам не очень верил в то, что талантливо сочинил.

Впрочем, в те годы, до смерти Сталина, правдивая литература о Великой Отечественной войне была просто невозможна. Умные люди полагали, что настоящие, большие писатели, такие как Шолохов, Эренбург, Фадеев, Леонов, Паустовский, Симонов, а может быть, и сам Алексей Толстой, пишут тайно, как говорили – «в стол», с тем чтобы опубликовать написанное в будущем. Все это оказалось пустышкой – никто из корифеев русской литературы ничего «в стол» о войне не написал, а говоря без обиняков, с темой этой не справился. Однако умные люди не ошиблись, ибо нашелся-таки писатель на земле русской, тайно писавший в годы сталинского террора правдивый и всеохватный роман о Великой Отечественной войне, – Василий Гроссман.

****

После смерти Сталина перед русскими писателями открылась узенькая щель под колючей проволокой, позволявшая пролезть со щепоткой правды о прошедшей войне. Эта щель постепенно расширялась, и поток правдивой литературы на темы войны возрастал. Талантливые повести и романы о Великой Отечественной войне написали Ф. Абрамов, А. Адамович, В. Астафьев, Г. Бакланов, В. Богомолов, Ю. Бондарев, В. Быков, Б. Васильев, В. Войнович, К. Воробьев, В. Закруткин, Э. Казакевич, В. Курочкин, В. Некрасов, Е. Носов, В. Распутин, А. Рыбаков, Г. Свирский, А. Чаковский, – прошу прощения у тех, кого забыл упомянуть. Запомнился, конечно, яркий роман К. Симонова «Живые и мертвые» – это был прорыв в теме о горестной судьбе советских солдат и офицеров, попавших в окружение, прорыв, правда, робкий, с явной оглядкой на партийное начальство.

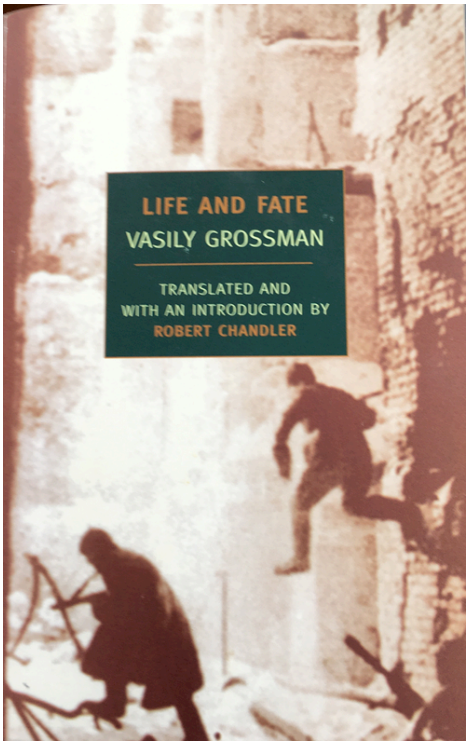
Шли годы, многие темы войны, ее эпизоды и отдельные трагические страницы были раскрыты, но монументальная эпопея о Великой Отечественной войне, под стать толстовской «Войне и миру», так и не появлялась, и, казалось, уже никогда не появится...

В творческом полете литературы, как и в полете самолета, есть точка невозврата – такой момент времени, когда вернуться в прошлое уже не представляется возможным, когда поколение прямых участников великих событий уходит в небытие, когда эти великие события становятся предметом архивных исследований, когда все труднее и труднее создать подлинную художественную картину не просто событий прошлого, но, главное, человеческих судеб, быта, мыслей и переживаний тех, кто делал историю в то ушедшее навсегда время. Лев Толстой говорил о своей работе над романом «Война и мир»: «*Я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года, которого еще запах и звук слышны и милы нам*». В этой толстовской фразе ключ к пониманию времени невозврата – это когда «запах и звук» великих событий прошлого теряются в шуме и гари быстротекущего времени и уже не «слышны» и не «милы нам». Конечно, исторические

романы Вальтера Скотта и Лиона Фейхтвангера доставляют огромное наслаждение, погружают читателей в события многовековой давности с почти архивной скрупулезностью, но это все же только исторические романы, и в них нет подлинных «запахов и звуков» событий прошлого.

Василий Гроссман прошагал всю войну вместе с Красной Армией от Москвы до Берлина через Сталинград. Он писал свой великий роман об Отечественной войне 1941–1945 годов в то время, когда запахи и звуки этой войны были явственно слышны, когда половина огромной державы еще лежала в руинах, когда немецкие концлагеря еще не были музеями, а советские работали на полную мощность, когда выживших в немецком плену советских солдат расстреливали или посылали на каторгу, а безногих и безруких сплавляли на остров Валаам подальше от глаз людских. Он писал свой роман, когда миллионы действующих лиц его эпопеи еще были живы, он спешил успеть до точки невозврата.

В то довозвратное время русской литературе повезло – муза истории Клио и муза трагедии Мельпомена счастливо узрели гения, способного к тому же на великий подвиг во имя правды, и, сговорившись, вручили ему перо для написания романа-эпопеи о величайшей войне в русской истории. Музы взвесили на весах надежд и сомнений и личный опыт будущего автора, и его талант, и его жертвенную готовность отдать на заклание самого себя. И когда этот роман, через много лет после смерти автора, был наконец опубликован – уже во времена, близкие к точке невозврата – стало абсолютно ясно: не было, нет и никогда не будет в русской литературе о Великой Отечественной войне ничего выше, чем «Жизнь и судьба». Роман впервые раскрыл и советскому народу, и всему миру горькую и возвышенную правду о Великой Отечественной войне во всей ее громадности, противоречивости, сложности и многогранности.



****

Монументальность романа заявлена автором ясно и четко с первых страниц – в центре его вечная борьба свободы и несвободы. «Жизнь и судьба» начинается, как реквием по свободе – в фашистском концлагере доживают свои дни люди едва ли не из всех стран Европы. Они не похожи друг на друга, у них разные взгляды на жизнь, мир, религию и политику, даже отнятую у них свободу они понимают по-разному; их объединяет только одно – все они враги нацизма, его узники, подлежащие уничтожению. Мощными лаконичными мазками рисует автор живые незабываемые портреты страждущих и отчаянно борющихся за свою жизнь и свои убеждения людей: от русского коммуниста-интернационалиста до итальянского священника, от старого русского толстовца до молодого американского полковника. Жутковато-монотонная мелодия реквиема по утраченной свободе медленно плывет над колючей проволокой, над бесконечными рядами унылых, однообразных бараков – таким нацисты хотят сделать весь мир...

И вдруг роман взрывается железным шквалом звуков великой Сталинградской битвы. Огненный вал стремительно продвигается к Волге, сжигая и сметая все на своем пути – это немцы подожгли цистерны с нефтью и пустили огненный поток вниз по волжскому склону на позиции 62-й армии. Ночью немцы прорываются к штабу дивизии генерала Родимцева, и генерал без всякого казенного пафоса и высоких слов, как-то даже озорно, поднимает офицеров штаба, связных, писарей и телефонистов, увлекает их за собой на дно оврага, где в кромешной тьме, освещаемой лишь отблесками выстрелов и взрывов, под непрерывный железный свист, в кровавой рукопашной схватке отбивает немецкую атаку...

И вновь несвобода выкручивает руки героям романа – рваные, отвратительные звуки теперь уже советского концлагеря в далекой сибирской тайге. Те же, что в фашистском лагере, голод, каторжный труд, насилие, безнадежность, плюс невероятная грязь и вонь, беспредел уголовников и невыносимо тягостное чувство несправедливости – ведь насилие исходит не от врагов, не от фашистов, а от своих – коммунистов. Несгибаемый большевик Абарчук готов терпеть лагерные лишения ради дела партии, но страдает, когда лагерное начальство не признает его коммунистом, а уголовники прямо называют фашистом. Он радуется, узнав о встрече со своим революционным другом и партийным наставником Магаром – вот кто поддержит его неколебимую уверенность в правоте партии. В изоляторе, у койки больного Магара, сидя рядом с трупом умершего раскулаченного крестьянина, Абарчук услышал от своего учителя беспощадные слова исповеди. Указывая слабой рукой на труп крестьянина, Магар сказал:

«Мы ошиблись. Наша ошибка вот к чему привела – видишь... мы должны просить прощения у него. Да какое уж там каяться. Сего не искупить никаким покаянием... Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее. И Маркс не понимал ее: она основа, смысл, базис под базисом».

Тема покаяния коммунистов перед народом за раздавленную свободу впервые в русской литературе поднята Василием Гроссманом – задолго до диссидентских шестидесятых годов, задолго до перестроечных восьмидесятых годов и разгона компартии.

И тема советских концлагерей во всей их жуткой реальности и всеохватности в русской литературе впервые поднята Гроссманом. Еще далек был «Архипелаг Гулаг» Александра Солженицына, еще далеки были «Колымские рассказы» Варлама Шаламова и

воспоминания выживших советских каторжан, еще никому не было позволено даже заикнуться о существовании советских лагерей смерти, а Василий Гроссман уже описал в художественных образах гигантский концлагерь, в который превратили страну сталинские подручные, раскрыл звуки сводного гулаговского оркестра, подлинные запахи эпохи большого концлагеря:

«А сирены все выли, дальние и близкие, – северный сводный оркестр. Он звучал над морозной красноярской землей, над автономной республикой Коми, над Магаданом, над Советской Гаванью, над снегами колымского края, над чукотской тундрой, над лагерями мурманского севера и северного Казахстана... Под голоса сирен, под удары ломика по подвешенной к дереву рельсе шли добытчики соликамского калия, ридеровской и балхашской меди, колымского никеля и свинца, кузнецкого и сахалинского угля, шли строители железной дороги, идущей поверх вечной мерзлоты вдоль берега Ледовитого океана, рабочие лесоповала Сибири и Северного Урала, мурманского и архангельского края... В этот снежный ночной час начинался день на таежных лагпунктах и командировках великой лагерной громады Дальстроя».

Сталинский режим превратил Россию в «великую лагерную громаду» – таким режим хотел бы сделать весь мир!

И когда читаешь гроссмановские страницы о чудовищном засильи уголовников в советских концлагерях, об их издевательствах над политическими ссыльными и просто над ни в чем неповинными людьми, невольно возникает страшный вопрос – а не правит ли и во всей «великой лагерной громаде» банда уголовников, не захватила ли именно эта банда номенклатурных уголовников власть в России? Гроссман дает в романе бесстрашный и жесткий ответ на этот вопрос:

«Лагерь давал как бы гиперболическое, увеличенное отражение запроволочной жизни. Но действительность по обе стороны проволоки не была противоположна, а отвечала закону симметрии».

Гиперболическое видение Гроссмана привело впоследствии партийных функционеров–уголовников в состояние невменяемого бешенства и к немедленному запрету романа.

****

Говоря о романе «Жизнь и судьба», приходится часто повторять – впервые, впервые, впервые... Гроссман не обходит острые углы, высвечивает правду горькую и жестокую. В догроссмановской литературе о Великой Отечественной войне непреложным было моральное превосходство советских людей над фашистами, и, более того, война представлялась, как столкновение двух систем, не имеющих ничего общего, противоположных и в целом, и в частностях, антагонистичных и в идеологии, и в ее практическом воплощении. Гроссман впервые в литературе раскрыл поразительную схожесть двух систем в момент их смертельной схватки. Прямое столкновение гитлеровских и сталинских концлагерей, заставляющее мучительно размышлять о том, что же, на самом деле, лучше – это лишь первый и поверхностный слой правды, вскрытый в романе. За ним следует глубинный слой правды, который даже для диссидентов шестидесятых годов был шокирующим – идентичность, вплоть до деталей, идеологических основ фашизма и коммунизма. Эта тема раскрывается Гроссманом в потрясающих по эмоциональной напряженности «беседах» нациста-философа оберштурмбанфюрера СС Лисса и заключенного большевика-философа Мостовского. Лисс постоянно называет Мостовского учителем, утверждает, что Гитлер многому

научился у Сталина, а Сталин у Гитлера, что его, Лисса, партия переняла опыт и заимствовала методы у партии Мостовского. Честный Мостовской поначалу взбешен такими сопоставлениями, не желает отвечать на вопросы эсэсовца, но постепенно его одолевают ужасные сомнения – ведь то, о чем он сам думал, те, беспокоившие его самого бесчеловечные проявления сталинского насилия, о которых он старался не думать, полагая их не стоящими серьезного отношения частностями, – все это, оказывается, в полной мере использовано и чудовищным образом реализовано нацистами.

Коммунист Мостовской был расстрелян в фашистском концлагере за попытку создания подпольной группы сопротивления, его друг коммунист Абарчук был убит в советском концлагере за попытку разоблачения банды уголовников.

****

Еще одна тема романа, впервые поднятая в русской художественной литературе и очень не понравившаяся партийному начальству – нацистский геноцид еврейского народа и зарождение советского государственного антисемитизма во время Великой Отечественной войны. Автор впервые в русской прозе дал художественное изображение всех этапов фашистского геноцида евреев на оккупированных территориях Советского Союза. Это изображение не является притянутой вставкой, оно, напротив, есть неотъемлемая составляющая жизни народа во время Великой Отечественной войны.

Нелегко читать страницы романа о массовых убийствах. Образы потрясающей художественной силы обступают читателя и со стороны убиваемых, и со стороны убийц, разрывают на части душу. Невозможно смириться со зверством происходящего, невозможно смириться с существованием в человеческом обществе человекоподобных существ, убивающих детей. Иногда кажется, что происходящее в романе – за пределом эмоциональных возможностей человека.

Шестилетний Давид привезен на лето к бабушке из Москвы на Украину, здесь его застает война. Немцы и их местные помощники отправляют мальчика в лагерь уничтожения – его короткая жизнь заканчивется в газовой камере. Переживания ребенка, не вполне понимающего, что с ним происходит и почему нет рядом ни мамы, ни бабушки, невозможно читать без комка в горле.

Образ нацистского охранника, подглядывающего в глазок газовой камеры за страданиями удушаемых голых женщин и детей и онанирующего одновременно, дополняет картину трагической деградации рода человеческого в середине XX века. Техника убийства евреев описана Гроссманом с небычайной выразительностью и точностью деталей – впервые, наверное, не только в русской, но и в мировой художественной литературе. Это не случайно, ибо, хотя Гроссман не был очевидцем событий на оккупированных территориях и в лагерях уничтожения, но он вместе с Ильей Эренбургом подготовил «Черную книгу» свидетельских показаний о нацистских зверствах. Эта книга не была опубликована в Советском Союзе, но, по-видимому, ее материалы послужили основой для художественных обобщений в романе «Жизнь и судьба».

С темой нацистских преступлений против еврейского народа смыкается совсем уж запретная вплоть до конца XX века тема советского государственного антисемитизма, который существовал де-факто, но официально не признавался ни одним советским руководителем даже в послесталинские времена. Гроссман едва ли не первым отметил удивительное совпадение времени введения Сталиным первых антиеврейских

установлений с решением Гитлера об окончательном уничтожении еврейской нации – 1942 год.

В романе связь между этими событиями как бы намечается письмом врача Анны Семеновны Штрум из еврейского гетто на Украине своему сыну, ученому-физику Штруму в Казань. В историко-литературной критике уже отмечалось, что это письмо, само по себе являющееся литературным шедевром, этот горестный стон матери, стоящей на краю могилы вместе со своим народом, не имеет себе равных в мировой литературе о Холокосте. Однако в романе письмо Анны Семеновны играет, кроме того, важную роль в установлении еще одной общности гитлеровского и сталинского режимов. С одной стороны, врач Анна Семеновна, никогда в довоенное время не ощущавшая свое еврейство, ясно понимает, что днями она будет расстреляна гитлеровцами за это свое еврейство вместе со всеми обитателями гетто в общей яме-могиле. С другой стороны, ее сын Виктор Штрум, который никогда прежде не испытывал антисемитизма, получив предсмертное письмо матери, с недоумением и ужасом понимает, что возникшее вокруг него отчуждение, равно как и непризнание сделанного им теоретического открытия в области ядерной физики, вызваны его еврейским происхождением. И Штрум, и его мать принадлежали к тому поколению советских евреев, которые поверили в интернационализм советского государства и ради этого отказались от всего, что связывало их с еврейским прошлым и еврейскими предками. Василий Гроссман, пожалуй, впервые дал ясную художественную интерпретацию судьбы этого обманутого поколения: одну половину этого поколения гитлеровцы физически уничтожили, а вторую сталинцы обрекли на унизительное положение людей второго сорта.

Гроссман дает исчерпывающую и беспощадную, как кинжальный удар, оценку сути как германского, так и советского государственного антисемитизма:

«Антисемитизм есть выражение бездарности, неспособности победить в равноправной жизненной борьбе, всюду – в науке, в торговле, в ремесле, в живописи. Антисемитизм – мера человеческой бездарности... Государственный антисемитизм – свидетельство того, что государство пытается опереться на дураков, реакционеров, на неудачников, на тьму суеверных и злобу голодных... В эпохи, когда всемирная реакция вступает в гибельный для себя бой с силами свободы, антисемитизм становится для нее государственной, партийной идеей...»

Советская партийная номенклатура, паразитировавшая на антисемитизме, никогда не простила автору «Жизни и судьбы» этой пощечины – вызова свободного человека.

****

Среди многочисленных героев романа «Жизнь и судьба» выделяются две центральные фигуры необычайной силы и таланта – Виктор Павлович Штрум и Петр Павлович Новиков.

Вся история Штрума – непростые отношения в семье; драматические события в физическом институте; необычная, болезненная любвь к жене друга; гениальное научное озарение; травля номенклатурными ничтожествами, прекращенная внезапным звонком самого Сталина; драма обретения свободы и трагедия ее потери – написана с захватывающим мастерством, просто невозможно оторваться от этих страниц книги.

Не раз утверждалось, что образ Штрума автобиографичен. Действительно, и гибель матери на Украине от рук нацистов, и сложные отношения с женой, и выкручивание рук при подписании бесчестного письма, и последовавшие за подписанием мучительные угрызения совести – все это было в биографии Гроссмана. Но мне представляется, что

главная параллель со Штрумом, которую неявно выводит автор романа, таится в снизошедшем на ученого необычном, божественном озарении. Гроссман описывает озарение Штрума, сломавшее традиционные предствления о природе ядерных взаимодействий, как событие абсолютно нематериальное: в голове ученого внезапно и без всяких видимых усилий с его стороны, вследствие каких-то странных мутаций бессвязных и посторонних мыслей о свободе, сложилась целостная картина новой физической теории, такой ясной и красивой, что ее справедливость и точность даже не нужно проверять.

Читая эти страницы романа, я представлял себе Василия Гроссмана в его московской квартире в глухие сталинские годы в преддверии великого озарения – замысла громадной и всеохватной эпопеи о прошедшей войне. Представлял себе его бессонные ночи и мучительные сомнения: как собрать воедино огромный материал, какой центральной идеей объединить разрозненные образы людей и события, как сказать горькую, подчас низкую правду, не разрушив возвышенное, как вообще решиться на дело, за которое по законам диктаторского режима положен расстрел. И вдруг на него снизошло озарение, и из потока мыслей, тревог и сомнений нарисовался величественный роман-храм, его конструкция и живопись, музыка его звуков, а главное – пришла вдруг неколебимая готовность пожертвовать всем, может быть, и самой жизнью, ради этого дела всей жизни.

В том озарении, не сомневаюсь, вырисовался в замысле Гроссмана и другой главный персонаж романа – полковник Новиков, человек, напоминающий героев русских былинных эпосов, человек, которому суждено было сломать хребет немецкой военной машины в Сталинграде. Окруженный номенклатурными ничтожествами, вынужденный поддакивать им, а иногда и подыгрывать в нечестной и противной его природе игре, он, тем не менее, олицетворяет в романе благородного воина и более того, не побоюсь громких слов, – освободителя человечества от фашистской чумы. Ненавязчиво и деликатно, не избегая житейских деталей, Гроссман рисует образ этого человека необыкновенной силы и страсти, человека значительного и в командовании огромной массой людей, и в любви к женщине.

Страстная любовь Новикова к Евгении Николаевне Шапошниковой сливается в его мыслях и чувствах с грандиозным вызовом судьбы, уготованном ему войной. Он безнадежно и безответно любил Женю всю свою жизнь, но бездна была между ним и ею. Бездна исчезла как только Новиков осознал свою ключевую роль в великой битве с врагом – он теперь достоин любви этой необыкновенной женщины. Будешь моею, будешь моею – твердит он, сильный и уверенный в себе, как заклинание. И Женя покоряется этой силе, а потом и в ней нежность к Новикову странным образом сливается с чувством сопричастности с движением гигантской машины войны. На вокзале, в безнадежной попытке встретить его еще раз, она вдруг увидела и услышала, как дрогнули вокзальные стены, как задребезжали вокзальные окна, и сердце ее тоже вздрогнуло – это по первому пути, мимо вокзальной ограды шли на фронт, набирая скорость, открытые товарные платформы с тяжелыми танками Новикова. И тогда волна любви и счастья захлестнула ее – с огромной силой рисует Гроссман историю любви этих двух прекрасных людей, историю их отношений, изломанных, исковерканных жизнью и судьбой.

Автор оставляет своих главных героев физика Штрума и полководца Новикова в момент их высочайшего триумфа, но читатель ясно понимает – судьба этих выдающихся, но очень разных людей, сложится, тем не менее, очень похоже: пока режим не может без

них обойтись, они будут обласканы, но как только они выполнят свою миссию, режим выбросит их на помойку, если не посадит в концлагерь.

****

Сталинградская битва – эпицентр романа, его полюс, притягивающий все сюжетные линии. И даже когда действие развивается за тысячи километров от этого уже не существующего города и формально не имеет к нему отношения, читатель напряженно ждет возвращения туда, где решаются судьбы всех, к образам и характерам непостижимой красоты и силы.

Многие не любят высоких слов в наше прагматичное время, но я не могу не сказать того, что на самом деле думаю – сталинградские страницы «Жизни и судьбы» являются вершиной мировой литературы всех времен и народов. Эта оценка не опирается на углубленный литературоведческий анализ и отнюдь не претендует на таковой – я не являюсь литературным критиком ни по образованию, ни по профессиональному опыту. Эта оценка опирается исключительно на мое читательское ощущение, на душевное волнение, которое вызывали во мне сталинградские страницы романа – ничего подобного я прежде от чтения литературы не испытывал, а прочитал я, поверьте, немало.

Сталинградские будни описаны Гроссманом так просто и естественно, что поначалу эпический размах событий и едва ли не мифологическая мощь его героев почти не заметны на фоне постоянных забот о сухих портянках, порванных подметках и квашеной капусте на закуску. И тем не менее внутренняя динамика событий развивается по нарастающей, чудовищное противостояние многомиллионных армий прорывается сквозь оболочку, состоящую из тысячей сиюминутных и отнюдь не героических связей, отношений, бытовых ситуаций. Это противостояние достигает апогея в разрушенном доме «шесть дробь один».

В повести о сталинградском доме «шесть дробь один» эпическая и лирическая линии романа сливаются в невыразимо трагическую и прекрасную симфонию человеческого духа – симфонию бетховенской мощи. Отрезанный от своих войск и фактически обреченный на гибель гарнизон этого дома превращается в островок свободы в несвободном мире. Гроссман пишет:

«Не совсем ясно, подобрались ли в “доме шесть дробь один” удивительные, особенные люди, или обыкновенные люди, попав в этот дом, стали особенными...».

Тем не менее, на самом деле, все ясно – обыкновенные несвободные люди тоталитарного режима, попав на этот смертельный остров, стали необыкновенными... свободными людьми. А став свободными, перед лицом неминуемой смерти, эти простые люди оказались отнюдь не простыми – они не приемлют бесчеловечный сталинский режим, его колхозный строй, чудовищный террор 1937 года. Это один из тех эпизодов, из-за которого партийное начальство впоследствии так свирепо расправилось с романом Гроссмана – для партийного начальства было невыносимо прочитать, что истинные герои Сталинграда не только не нуждались в партийном руководстве, а, напротив, презирали его, что они воевали отнюдь не за советский строй и не за Сталина, а за свою родную землю, которую пришли отнять у них немцы.

Поразительно, но отнюдь не случайно, что именно в «доме шесть дробь один» под взрывы бомб и треск пулеметов, среди кровавой кирпичной пыли и трупной вони разрастается и достигает небесных высей прекрасная мелодия чистой и нежной любви – сталинградская версия истории Дафниса и Хлои.

Василий Гроссман начинает эту мелодию возвышенным аккордом необычайной мощи:

«*История Дафниса и Хлои повторяется всегда и всюду – и в душном, пропахшем жареной треской подвале, и в бункере концентрационного лагеря, и под щелканье счетов в учрежденческой бухгалтерии, и в пыльной мути прядильного цеха. И эта история вновь возникла среди развалин, под вой немецких пикировщиков, там, где люди питали свои грязные и потные тела не медом, а гнилой картошкой и водой из старого отопительного котла, возникла там, где не было задумчивой тишины, а лишь битый камень, грохот и зловоние*».

И заканчивает автор эту историю таким грустным, прекрасным и человечным финалом, который трудно себе представить в эпицентре жестокой и кровавой войны. Командир гарнизона, «управдом» Греков своим солдатским чутьем угадал, что его «дом шесть дробь один» стоит на главной оси задуманного командующим немецкой армией генералом Паулюсом решающего удара по Сталинграду. В преддверии этого неотвратимого удара Греков своей властью отправляет влюбленных лейтенанта и радистку в штаб полка, подальше от ада, из которого никто живым уже не уйдет. Греков отделяет жизнь от смерти; оставаясь со смертью, он провожает взглядом уходящую жизнь, и читатель вместе с молодыми влюбленными видит, «*что смотрят на него прекрасные, человечные, умные и грустные глаза, каких никогда он не видел в жизни*».

Штабные оперативники собирают на Грекова компромат, готовятся арестовать и судить его военно-полевым судом, но не успевают – страшной силы удар двух немецких дивизий сровнял с землей «дом шесть дробь один», и все его защитники погибли.

Командующий немецкой армии под Сталинградом генерал-полковник фон Паулюс понял – не сломить ему этих людей, готовых умереть, но не согласных отступить.

****

Кульминационной точкой романа является, конечно, знаменитый эпизод начала наступления советских войск под Сталинградом.

На своем командном пункте на правом берегу Волги командир танкового корпуса полковник Новиков понимает, что история поручила именно ему переломить ход Второй мировой войны. В его руках сосредоточена колоссальная сила, которую он должен ввести в бой.

В Кремле Сталин нервничает – решается судьба созданного им государства, он нетерпеливо ждет донесения командующего Сталинградским фронтом. Напряжение нарастает, высшее советское военно-политическое руководство ждет начала атаки, но Новиков не спешит вводить свои танки в бой – пусть артиллерия подольше помолотит позиции врага. Сталин грубо допрашивает командующего фронтом генерала Еременко и, услышав, что танки еще не введены в бой, матерно ругается и бросает трубку телефона. Испуганный генерал срывает свою злость на командующем армии генерале Толбухине и требует немедленно начать танковую атаку. Генерал Толбухин дает полковнику Новикову три минуты для исполнения приказа Верховного Главнокомандующего. Тем не менее Новиков снова оттягивает начало атаки – словно чувствует биение гигантского сердца истории, словно слышит нарастающие, но еще не дошедшие до кульминации звуки великого финала... Еще минуточку, еще одну... Он поднимает телефонную трубку и долго молчит в нее, и окружающие с ужасом и восторгом смотрят на свободного человека, который вот сейчас, прямо у них на глазах взорвет историю...

Цепочка Сталин–Еременко–Толбухин–Новиков содрогается от возрастающего напряжения. И когда это напряжение достигает невыносимой болевой точки, когда в душу Новикова, глотнувшего свободы, наконец врывается грозная победная мелодия финала, он, задохнувшись от счастья, срывающимся, бешеным и пьяным криком бросает свои танковые дивизии на врага – точка в битве столетия поставлена.

Конечно, у Гроссмана все это описано не так – это мое личное прочтение романа. У Гроссмана все проще и глубже, а потому намного величественнее:

«Туман стал гуще от голубого дыма,
воздух загудел от рева моторов,
корпус вошел в прорыв».

Так заканчивает Василий Гроссман центральный эпизод романа, и от этого чудного ритма слов, от этого беспощадного аккорда «туман–рев–прорыв» замирает сердце и слезы туманят глаза.

****

Возвышенные слова о сталинградской победе сливаются в романе с нелегкими размышлениями о свободе человека. Гроссман не желает славословить вождей и формальных организаторов этой победы, он отказывается признать за ними право на гениальность, он полагает, что подобное славословие «*не только глупо, но и вредно, опасно*». Опасно, прежде всего, потому что победа вождей, победа государства отнюдь не гарантирует победу народу:

«Сталинградское окружение армии Паулюса определило перелом в ходе войны. Сталинградское торжество определило исход войны, но молчаливый спор между победившим народом и победившим государством продолжался. От этого спора зависела судьба человека, его свобода».

Спор между народом и государством о свободе завершился, как мы знаем, отнюдь не в пользу народа. Многие страницы последней части романа посвящены этой горестной составляющей Великой Отечественной войны...

Гроссман обрывает главные сюжетные линии романа в тот момент, когда «*молчаливый спор между победившим народом и победившим государством*» подошел к своей трагической развязке. Читателю предстоит самому домысливать судьбы полюбившихся ему персонажей романа, а судьбу победившего народа домысливать не надо – она известна:

«Мир вырастал из войны – нищий, бедный, почти такой же трудный, как война».

Так заканчивается эпопея Гроссмана о войне и мире, роман о нелегкой жизни и суровой судьбе людей в эпоху жесточайшего насилия над человеком, насилия над свободой, которого не знала до тех пор история...

****

Трудно остановиться, когда думаешь о «Жизни и судьбе», но нужно и должно остановиться – в мою задачу отнюдь не входит детальный анализ романа. Просто-напросто хотелось поделиться с моими читателями некоторыми мыслями, впечатлениями и даже эмоциями, которые поднял во мне роман Василия Гроссмана в дни Юбилея победы над фашизмом. Главное – я услышал «звуки и запахи» той эпохи, мне передалось то чувство необъяснимого единства простого и великого, уродливого и прекрасного, низкого

и возвышенного, которое владело людьми того далекого времени. Сам писатель сказал об этом так:

«*Это чувство было сложно и многотрудно, казалось, и великий художник не мог выразить его. Оно возникало от соединения могущественной военной силы народа и государства с этой темной кухней, нищетой, сплетнями, мелочностью, соединения разящей военной стали с кухонными кастрюлями, картофельной шелухой*».

Да, только очень великий художник мог нарисовать эту грандиозную картину человеческих жизней и судеб во дни той беспримерной схватки с фашизмом, собрать и переплести их, найти ту единственную правду той войны и того мира, которая непостижимым образом объяснила «*внешне бессмысленную связь расколотых образов и световых пятен*».

Только Василий Гроссман сумел сделать это – гений, задушенный в подворотне.

****

Василий Гроссман не был убит выстрелом в затылок в подвале НКВД, как писатель Исаак Бабель, он не был забит палачами до состояния мычащей скотины, как режиссер Всеволод Мейерхольд, он не был доведен до сумасшествия в сибирском концлагере, как поэт Осип Мандельштам, он не был зверски растерзан, как актер Соломон Михоэлс, он не был расстрелян, как писатель Борис Пильняк и поэт Перец Маркиш, и тем не менее, трудно представить более тяжелую жизнь и более трагическую творческую судьбу, чем та, что выпала на его долю.

Осенью 1963 года в разговоре с Борисом Ямпольским он сказал: «*Меня задушили в подворотне*». Гроссман имел в виду конфискацию всех рукописей и копий романа «Жизнь и судьба» – главного дела его жизни. Меньше чем через год после того разговора Гроссман умер в Первой градской больнице Москвы. По свидетельству Ямпольского он умирал одиноко, долго и мучительно – «*природа добивала его с той же, что и государство, неумолимостью и беспощадностью*». Василия Гроссмана хоронили, как второстепенного писателя, без торжественно-печальных атрибутов похорон выдающихся личностей, «Литературная газета» поместила сухой некролог без портрета, даже те немногие, кто знал о великом романе, вынуждены были хранить молчание – наступала эра тупого брежневского партийного руководства.

****

Василий Гроссман писал роман 12 лет, писал втайне и без малейшей надежды на его публикацию. Он твердо решил – никаких компромиссов с властью, никаких уступок ради сомнительной привилегии опубликовать полуправду.

«*Правда одна. Нет двух правд. Трудно жить без правды либо с осколочками, с частицей правды, с обрубленной, подстриженной правдой. Часть правды – это не правда*».

Это была изнурительная работа над каждой линией романа, над каждым словом. Эта была фанатичная работа ради вечности, гигантский, никому, кроме автора, не понятный и непостижимый замысел, труд, согретый лишь одним божественным светом истины. Вот как Борис Ямпольский писал об этом:

«*Я часто видел его в годы его главного творения, Главной книги, и он похож был скорее на каменотеса, казалось, большие, сильные рабочие руки его держали молот и долото, но не хрупкое, обмакнутое в чернила перо. Он, казалось, строил в это время грандиозный Собор, и эта книга, не увидевшая света, и была Собором, величественным, современным, суровым, и*

светоносным, святым Собором нашего времени. В ней впервые и до сих пор... единственный раз была сказана вся правда о прошедшей великой и страшной войне».

Литературные критики неоднократно сравнивали роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» с романом Льва Толстого «Война и мир». Я не считаю себя достаточно компетентным, чтобы участвовать продуктивно в подобной дискуссии. Как читатель, я часто ловил себя на мысли, что роман Гроссмана занимает в русской классической литературе такое же место, как и роман Толстого. Критики отмечают идентичность стуктуры этих романов – отображение гигантских исторических событий через переплетающиеся судьбы нескольких семей и нескольких поколений. Критики, кроме того, считают роман Гроссмана крупнейшим в XX веке развитием традиций русской классической литературы XIX века, находят в нем близость с философским осмыслением вечных проблем бытия Федором Достоевским и продолжение лирической и гуманистической линии прозы Антона Чехова.

Критики на Западе отмечали, что «Жизнь и судьба» представляет собой энциклопедию жизни человека в условиях диктаторских режимов, и что никто лучше Гроссмана не выразил в художественных образах то невероятное давление, под которым находится человек в тоталитарных государствах. После перевода романа Гроссмана на английский язык крупнейшая американская газета «New York Times» назвала его «*величайшим русским романом XX века*».

****

В октябре 1960 года Василий Гроссман передал экземпляр романа в редакцию литературного журнала «Знамя». Это было время хрущевской оттепели и разоблачения преступлений Сталина, и ему, вероятно, почудилось, что правда его романа может стать правдой его народа. До сих пор идут споры о том, был ли этот шаг импульсивной и наивной попыткой найти компромисс с властями, или это был продуманный вызов режиму, опиравшийся на готовность автора быть арестованным за антисоветскую деятельность. В пользу второго варианта свидетельствует известный факт: Гроссман заблаговременно и тайно передал два экземпляра романа своим надежным друзьям, каждый из которых считал, что спрятанный у него экземпляр – единственный.

По свидетельству друзей Василия Гроссмана, он ожидал ареста после передачи рукописи романа в редакцию журнала, но власти поступили не совсем стандартно – они арестовали не писателя, а сам роман. В феврале 1961 года на квартиру Гроссмана явились три офицера КГБ и сказали: «*Нам поручено извлечь роман*». «Извлечение» состояло в том, что они насильно забрали у автора все рукописи и машинописные копии романа. Затем офицеры КГБ произвели обыск на квартирах двух машинисток и конфисковали не только все оставшиеся копии романа, но даже использованную копировальную бумагу и ленты пишушей машинки.

Так Василия Гроссмана задушили в подворотне первый раз – в темном советском углу банда партийных уголовников ограбила его, отняла труд его жизни, отняла тихо, без огласки, отняла так, чтобы никто никогда не узнал, что этот труд вообще когда-нибудь существовал.

Гроссман пытался настаивать на возвращении принадлежащих ему рукописей, он добился приема у Михаила Суслова – главного партийного инквизитора тех времен, члена Политборо, ответственного за советскую идеологию. Высокомерный временщик поучал великого писателя, как и о чем нужно писать, а потом заявил, что о возвращении романа

«Жизнь и судьба» не может быть и речи. Инквизитор еще издевательски добавил: «*Роман может быть напечатан не ранее, чем через 200–300 лет*».

Так Василия Гроссмана задушили в подворотне второй раз – в темном советском углу пахан банды отказался вернуть украденный партуголовниками труд его жизни и лишил писателя последней надежды.

Что может быть страшнее для писателя, чем осознание того чудовищного факта, что его роман никогда не увидят люди, для которых он его написал. Гнетущая мысль – роман может быть уничтожен навсегда – ввергла Гроссмана в страшную депрессию. Друг писателя Семен Липкин писал:

«*Гроссман постарел на наших глазах. Его курчавые волосы поседели и поредели. Его астма обострилась... Он стал волочить ноги*».

Василий Гроссман умер через три года после крушения надежды на публикацию романа «Жизнь и судьба» – ему было 59 лет.

Михаил Суслов счастливо дожил до 80 лет. Этот аскетичный инквизитор войдет в историю запретом на публикацию величайшего русского романа XX века и своим бездарным «пророчеством» – в действительности роман будет опубликован впервые во Франции через 16 лет после смерти автора, а в России – через 24 года после смерти автора, всего через 6 лет после смерти инквизитора и за 3 года до разгона КПСС и развала СССР.

****

Самое ужасное, однако, в том, что удушение Василия Гроссмана в России продолжается и в наше время, и опять в подворотне, втемную, втихую, келейно, без излишних обсуждений и огласки, как бы само собой – мол, дескать, у читателей интереса нет к такой литературе.

Передо мной выписка из российского федерального стандарта – список произведений о Великой Отечественной войне, изучаемых в российских школах. Для школьников с 5-го по 9-й классы обязательными являются поэма «Василий Теркин» Александра Твардовского и рассказ «Судьба человека» Михаила Шолохова – очень это напоминает урезанный список из моих школьных лет шестидесятилетней давности. Для школьников 10-го и 11-го классов формулировка такая: «Проза второй половины XX века: Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. Произведения не менее трех авторов по выбору». Любопытно было бы узнать, как часто учителя литературы включают в список из трех избранных В.С. Гроссмана и его великий роман «Жизнь и судьба»? У меня нет статистики на этот счет, но подозреваю, что не часто, а скорее всего – никогда.

Раскрываю солидный том: «*Русская литература, Новая популярная энциклопедия, издательство «АСТ-ПРЕСС», Москва, 2001*». Ищу статью о Гроссмане и нахожу следующее: «*Гроссман В.С. – см. Великая Отечественная война и литература*». Слегка обескураженный, ищу что-нибудь о Гроссмане в указанной статье, вижу большие портреты Симонова, Исаковского, Леонова, титульный разворот «*Василия Теркина*» (ох, и поднадоел он за 60 лет непрерывных медных труб), портрет старухи из иллюстраций к «*Они сражались за родину*» (старуха, конечно, «важнейший» персонаж русской литературы о войне, но хотя бы постеснялись непрерывно славословить эту провальную работу), вот, наконец, и о Гроссмане: «*Историческую трагедию народа, пережившего ужасы фашистского нашествия и тяжесть давления тоталитарного строя, показал*

В. Гроссман в романе "Жизнь и судьба" (1980)». И это все? Да – все! Впрочем, если не считать странной даты – 1980, то все сказано правильно, хотя и сильно завуалировано в части «давления тоталитарного строя». Если же сопоставить масштаб литературного подвига Василия Гроссмана с одной убогой фразой о нем в энциклопедии «Русская литература», то становится как-то не по себе.

Замалчивание одного из крупнейших произведений русской литературы XX века, пренебрежительное отношение к творчеству Василия Гроссмана со стороны российской литературной элиты – это не просто несправедливость, это мерзость и преступление перед русской литературой и российским народом. Эта элита, по-видимому, держит людей за дураков и продолжает монотонно талдычить вот уже больше 60 лет, что ничего лучшего, чем «Василий Теркин», «Судьба человека» и «Они сражались за родину» в русской литературе о Великой Отечественной войне не было и нет.

В чем здесь дело? Где здесь собака зарыта? Почему воздвигнутый Василием Гроссманом «*величественный, современный, суровый и светоносный, святой Собор нашего времени»,* в котором *«впервые и до сих пор единственный раз была сказана вся правда о прошедшей великой и страшной войне*», почему этот Собор и эта правда не востребованы в современной России?

Все возможные ответы на этот вопрос наводят на грустные размышления о природе российской власти и российской литературной элиты.

Первый, само собой напрашивающийся ответ прост – нынешней российской власти и литературной элите не нужна правда о Великой Отечественной войне так же, как она была не нужна советскому коммунистическому режиму, КПСС и Союзу писателей СССР. Более того, эта правда полагается вредной, ибо мешает строить другой, лживый образ той войны и назначать ее героями удобных для власти и выгодных для элиты лиц.

Второй, лежащий на поверхности ответ еще проще, чем первый, но отличается от него особой мерзопакостностью – фамилией не вышел писатель Василий Гроссман. В России фамилия очень важна, и деятелям с сомнительными фамилиями не следует рассчитывать на слишком большую «народную любовь». И хотя Гроссман в переводе означает «большой человек», фамилия эта для русского писателя чрезвычайно неудачная, можно даже сказать – совсем никудышная и провальная, ну, прямо ни в какие ворота не лезет.

На самом деле оба ответа на вопрос о причинах невостребованности созданного Василием Гроссманом «святого Собора нашего времени» не только не исключают, но, напротив, взаимно дополняют друг друга. Сливаясь воедино, они весьма наглядно, цинично и грубо преобразуются в сложенную в кулак кисть руки с большим пальцем между указательным и средним – фига с два вам со всей вашей свободой, правдой, талантами, справедливостью и интеллигентностью!

Неужели так всегда будет в России?

Пророческий ответ на этот вопрос дается в самом романе «Жизнь и судьба». Василий Гроссман связывает его отнюдь не с власть предержащими временщиками и не с их подручными, «жадною толпой стоящими у трона», а со способностью каждого человека сохранить заложенное в него божественной природой стремление к свободе.

Если в котле тоталитарного насилия – а народы России пребывали в нем в течение почти всего XX века – природа человека изменится, и он, человек, окончательно потеряет присущее ему стремление быть свободным, то это сулит вечное торжество диктатуры государства. Если же, несмотря на насилие, основанное на лжи, человек сохранит

неизменным свое природное стремление к свободе, основанной на правде, то это будет приговор тоталитарному режиму. Бесконечные степи и леса России напоминают человеку о свободе, напоминают о том, что путь обновления и возрождения пролегает через обретение свободы, которая была у него отнята. В этой неумолимой и неистребимой подсказке божественной природы таится надежда на лучшее будущее...

Таково завещание Василия Гроссмана народу России, для которого он построил «святой Собор нашего времени» – первый правдивый роман о величайшей войне в ее истории. Судьба этого святого Собора есть производная от состояния свободы в России, от судьбы свободы, нигде и никогда не являвшейся бесплатным приложением к жизни человека.

Об этом завещании великого русского писателя особенно важно помнить в дни 75-летия Победы над фашизмом.